

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Благодарю В. С. Измозика и В. М. Лурье.

² Спілка визволення України (Союз освобождения Украины). Аресты по этому делу проходили в 1929 г.

³ Взгляды Розы Люксембург получили распространение среди польских и германских коммунистов и левых социал-демократов. Критика этих взглядов как полуменьшевистских носила особенно острый характер в письме Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма» в 1931 г. Между тем последующие годы показали, что во многом оправдались именно предвидения Р. Люксембург, считавшиеся сходными с положениями К. Каутского и противопоставлявшиеся ленинским. В 1903 г. она стала на сторону меньшевиков по вопросу о членстве в РСДРП. Отвергала принцип самоопределения наций вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Империализм в ее понимании был не последней стадией капитализма, а только его политикой, причем на всем протяжении его истории, а не на его последней стадии, вопрос о которой вообще не поднимался. Р. Люксембург считала капитализм долговечным, исходя из того, что необходимое для его существования разьедание

и вытеснение докапиталистических хозяйственных форм — дело весьма продолжительное, так как капиталистическое производство составляло при жизни Р. Люксембург незначительную долю во всем мировом хозяйстве. При этом классовая борьба пролетариата с буржуазией отходила у нее на задний план, поскольку гибель капитализма она ставила в зависимость не от этой борьбы, а от сужения некапиталистической сферы.

Как представляется, «новопрочтенцы» из числа учеников А. Л. Сидорова в 1950–1970-х гг., П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский, А. М. Анфилов и другие во многом шли за Р. Люксембург не только в теоретических выкладках, но и в специальных исследованиях. Достаточно упомянуть дискуссию по поводу значения ленинского термина «военно-феодальный империализм», признание возможности временной утраты гегемонии в революционной борьбе, теорию многоукладности, работы о характере развития капитализма в деревне и роли ремесленного производства. Отсутствие у «новопрочтенцев» ссылок на Р. Люксембург может быть объяснено соображениями безопасности. Но и их критики, насколько известно, не обвиняли их в следовании ее взглядам.

А. Б. Давидсон

ПЕРВАЯ БЛОКАДНАЯ ЗИМА*

Воспоминания

Начало

Война застала меня на Волхове, в глухой деревушке под Киришами, в нескольких часах езды от Ленинграда. Сестра мамы работала в геодезической партии. И взяла меня с собой — отдохнуть после школы.

Я перешел в пятый класс. Церемонию в школе обставили торжественно. Каждому вручали табель успеваемости. Показали фильм «Волга-Волга» (мы видели его уже не

* Алексей Николаевич Цамутали участвовал во многих коллективных трудах по истории блокады. Его очерк «Вторая блокадная зима» издавался трижды. Поэтому мне казалось уместным в сборнике, посвященном юбилею Алексея Николаевича, опубликовать эти краткие воспоминания о первой блокадной зиме.

раз). Сразу после этого я и отправился в Кириши. Бродил с экспедицией по лесам. Полагал носить теодолит и прочие приборы. Но пробыл там совсем недолго.

Война! О ней мы узнали не из речи Молотова — в деревушке радио не было. Вечером, когда геодезисты вернулись из леса, колхозники сказали, что их собирали и объявили о начале войны. Геодезисты должны были ждать указаний: оставаться или уезжать. А для меня — первое в жизни самостоятельное решение: как быть? Добрался до железнодорожной станции. Но билеты уже перестали продавать. Шли бесконечные воинские эшелоны. Наконец какие-то красноармейцы сжалились, взяли к себе в теплушку.

Ленинград встретил солнечной погодой. И окнами, заклеенными крест на крест полосками бумаги. Подходя к дому, встретил одноклассников. С вещами. Их эвакуировали на Валдай. Я тоже был с вещами, они решили, что я — с ними.

Уезжали мои друзья. Те, кого я успел полюбить. Да и свою школу на Фонтанке мы любили. Ее роскошный актовый зал — театры ему позавидовали бы. Коридоры со скульптурами античных героев. Все это создавало настроение. Когда-то это было Петровское коммерческое училище — и в высоких застекленных шкафах по стенам классов по-прежнему сохранились в стеклянных банках семена диковинных «колониальных» растений, которые изучались там до 1917-го. Потом это была Первая образцовая школа Ленинграда. Ее кончал Аркадий Райкин. Он рассказал мне потом, что там учился и академик Зельдович. Кончал ее и знаменитый вратарь «Зенита» Набутов. В мое время это была 206-я школа. Большинство школьников — из семей интеллигенции. Вообще эти места были районом питерской интеллигенции.

Сердце екнуло — уезжают. Захотелось быть с ними. Но я с таким трудом прорвался в Ленинград! Ответил: — Никуда отсюда не уеду! Мама поддержала — натерпелась тревоги за меня, пока я был вдали.

Большинства из них я потом уже не встретил. Не встретил Панфилова, строгого директора школы, как и учителя пения Вахромеева, единственного мужчину из учителей нашего класса. Оба не пришли с войны.

А я вернулся к ленинградской жизни. Одноклассники уехали. Взрослым было не до меня. Чем заняться? Читал. Благо сохранились прекрасные библиотеки старых питерских квартир. Белые ночи еще не совсем кончились, по вечерам можно было читать и без электричества.

В молниеносное продвижение немцев к воротам города не верили. Очевидно потому, что город ни разу не бомбили, даже когда в Москве бомбежки стали обыденным делом. Доходило порой до поразительной наивности: думали, не увезти ли детей в пригороды, в дачные районы — на случай бомбежек. Страх оказаться в осажденном городе не было.

А тем временем поток беженцев в Ленинград нарастал: и с юга, и из Эстонии. Неожиданно появились и в нашей семье: отец моего отчима, в прошлом артист Александринки, и его жена. Обрусевшие немцы, они не захотели жить в германской оккупации. И при приближении фронта к Гатчине (они жили там, уйдя на пенсию) перебрались в Ленинград, к нам.

Вообще, казалось, что численность населения в Ленинграде к началу блокады была — из-за притока беженцев — не меньше, а больше предвоенной.

В блокаде

В первых числах сентября, когда город уже окружен, — первые немецкие снаряды. Еще до первых бомб. А бомбежки — с 6–8 сентября. И с тех пор — уже постоянно, до начала декабря, когда немцы почему-то прекратили их на четыре месяца. «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги» — и снова сирены — и так бесконечно. Повсюду поиски шпионов — это они подают сигналы мессерам, хейнкелям, юнкерсам. Но даже намек на панику не было. Ленинград не переживал ничего подобного московскому 16 октября.

Пожалуй, только один раз видел — нет, не панику, но все же бурное массовое возбуждение. Бомба попала в кинотеатр «Форум», на седьмой линии Васильевского острова. Кинотеатр вспыхнул как факел. Люди из соседних домов высыпали на улицу. Крики людей — на это еще были силы. Лай собак (сентябрь — в городе еще были собаки). Для меня, как и почти для всех вокруг, это была первая бомба совсем рядом. Я сидел в доме напротив, под окном, читал «Графиню Монсоро». Вдруг на меня свалилось одеяло, которым было завешено окно. Звон стекла, осколки повсюду, и пламя — казалось, прямо из окна в комнату. Говорили потом, что это была комбинированная фугасно-зажигательная бомба.

В той комнате, напротив «Форума», собралась тогда вся родня, Макрушины: бабушка, сестра мамы, жена ее брата. И мы с мамой. Женщины и дети. Мужчин, как и во многих семьях, не было. Хозяин комнаты, мой дядя, был мобилизован как артиллерист запаса еще весной и отправлен под Брест. Отчима вызвали в Москву. Женщины жались друг к другу, тянуло быть вместе — не так страшно. Но после той бомбежки комната оказалась без стекол, и пришлось разъехаться по домам. Мы с мамой тоже вернулись к себе, на улицу Ломоносова, или, как все называли ее по-старому — Чернышев переулок. Но и там предпочли жить не одни. На сей раз — с соседями. Думаю, что это было типично тогда для петербургских квартир.

Переселились мы все из своих комнат в кухню. Кухня большая — тридцать метров. Дом когда-то построили купцы Елисеевы, еще до русско-японской войны. Как и их известные магазины, фундаментально, с размахом. Просторные коридоры, кладовки. Но главное — кухня находилась в глубине квартиры. Фасад же выходил на обстреливаемую сторону. В соседний дом, номер 12 (наш был — 14) снаряд уже попал.

Так что в кухне было безопасней. Нас собралось там много, хотя в сущности только две семьи. Большая семья Набоковых (о писателе Набокове я услышал много лет спустя, так что не знаю, в каком родстве они были). У нас с ними было много общего. Они пережили ссылку — их выселяли в 35-м, после убийства Кирова. К счастью, не далеко — в Уфу, и в 39-м разрешили вернуться. Ну, а мама моя пережила ссылку, куда более дальнюю, со своим первым мужем, моим отцом.

Сближал нас с Набоковыми и интерес к литературе. У них была сохранившаяся с дореволюционных времен прекрасная библиотека. «Брокгаузовская двадцатка» — двадцать богато изданных томов Шекспира, Байрона, Пушкина... Дешевые, на газетной бумаге, «144 тома иностранных писателей» и 60 томов дополнения: Вальтер Скотт, Гофман, Шпилльгаген, да кого там только не было! Школа не работала, и я читал, читал...

В семье Набоковых были бабушка, мать и трое молодых мужчин, от 18 до 28 лет. Ждали призыва в армию, но их, как и многих ленинградцев, долго не брали: в армии пришлось бы кормить, а нечем.

Набоковых было пятеро. Нас — четверо: мама, я, «дед» — отец моего отчима, и его жена. Был еще кот, любимец всей квартиры. Его кормили до последнего. Но он, бедняга, не мог есть хлеб из суррогатов, который ели мы. И стал в нашей квартире первой жертвой блокады.

До войны у нас были еще две собаки — пойнтер и сеттер. В последние предвоенные годы среди породистых собак свирепствовала чумка. И оба песика погибли. Но в доме не все об этом знали. Сосед из верхней квартиры пришел к нам: «Я понимаю, у вас не поднимется рука на своих собак. Давайте, это сделаю я. Только уделите моей семье хоть немного мяса...».

По вечерам, чтобы заглушить чувство голода, — рассказы о прошлом. «Дед», Василий Адольфович, — о театральном Петербурге, о Варламове, Савиной, Тиме, Давыдове, Лидии Липковской, Орленеве и многих других, кого он знал или даже вместе играл в Александринке. Старшая из Набоковых, Александра Иосифовна, вспоминала «мирное время» — дореволюционный Петербург.

Преимущество общей жизни на кухне мы особенно почувствовали пятого-шестого ноября, когда немцы обрушили на город бомбовый шквал. Большой фугас — в полутора-метра метрах от нашего дома. Бомбы падали в Фонтанку. Пол ходил ходуном. От роскошного здания банка, совсем рядом, остались только стены. Рассказывали, что кому-то все же удалось спастись. Массивный старинный стол перевернулся, и человек оказался в пространстве между крепкими дубовыми ножками. Так он и летел вниз. Ножки задержали падавшие вслед обломки, и в пространстве между ними был воздух, можно было дышать. Там его и откопали. Никто не знал, так ли было на самом деле, но хотелось верить в чудеса.

В нашей комнате тогда вылетели стекла и даже стеклянные двери книжного шкафа. Правда, не все: как-то асимметрично — действие взрывных волн непредсказуемо. Потом удалось забить окна фанерой. Помог дворник, дядя Вася, добрая душа. Конечно, не бесплатно. Но температура все равно была как на улице. А там — одна из самых суровых зим тех лет.

Осенью у людей еще хватало сил бывать у старых друзей, узнавать, все ли живы.

Самой близкой нам была семья Григорьевых. В круге общения нашей семьи они занимали особое место. Дружили много лет. Они жили неподалеку, в середине Гороховой, на равном удалении от двух памятных мест этой улицы: от конца ее, где жил когда-то Распутин, и начала, где довольно вскоре после его смерти большевиками было создано ЧеКа. Глава семьи, Леонид Николаевич, участник русско-японской войны, врач, побывавший в японском плену, теперь работал на «Скорой помощи», подбирая людей, упавших на улице от истощения. Хотя и сам еле ходил. Его сын работал на телефонной станции. Как внука двух действительных статских советников, его в двадцатых годах не приняли в университет. Начинал он с монтера. А увлечением его — на всю жизнь — была история. Забегая вперед, скажу, что потом, пережив блокаду, он все свое свободное время уделял истории. Писал «в стол». При жизни почти ничего не опубликовал. Лишь почти два десятилетия спустя после его смерти издали одну из его рукописей.¹

Встречались мы и со старыми сослуживцами мамы — преподавателями медицинского техникума, с коллегами отчима (к тому времени его с Академией наук перевели из Москвы в Свердловск) — географами и геологами. У ленинградской научной интеллигенции, в отличие от московской, еще до войны была еще одна причина для горячих

обсуждений: научные учреждения, издательства и журналы начали переводить в Москву. Над питерскими учеными нависла угроза остаться не востребованными.

Разумеется, виделась и с моим отцом. Когда-то, в 1928-м, мама поехала к нему в ссылку и вернулась в Ленинград только после моего рождения — в тех условиях трудно было с маленьким ребенком. Но когда отец наконец вернулся, после ссылки и запрещения жить в больших городах, тут-то они с мамой и разошлись. Не из личной неприязни. Просто их семьи, русская и еврейская, не поладили друг с другом. Но родители остались друзьями, и в блокаду отец помогал нам, как мог.

В его квартире, тоже, конечно, коммунальной, жила интеллигентная еврейская семья: два брата — инженеры работали на оборонном заводе. Когда старший из них, Яков, настолько ослабел от голода, что не вышел на работу, за ним прислали машину — неслыханно для тогдашнего Ленинграда. Завод не мог без него обойтись.

Соседи моей бабушки на Васильевском — немецкая семья. Интеллигентные пожилые немки, седые, чистенькие, со вкусом причесанные, с хорошим немецким языком — и никакой симпатии к фашизму. По городу до первых бомбежек шел слух, что Васильевский остров бомбить не будут — там с незапамятных времен жили немцы. Но в первых же бомбежках досталось и Васильевскому.

В нашей коммунальной квартире общались с друзьями Набоковых. С контр-адмиралом Балкашиным, преподавателем каких-то военно-морских наук, — он был женат на одной из Набоковых. С Тамарой Гинцберг, невестой одного из младших Набоковых. Ее отец, капитан или майор, попав в окружение, застрелился, памятуя наказ Сталина, что сдаются только изменники. А потом его часть все-таки вышла из окружения. Можно представить горе семьи!

Так получилось, что среди родственников и друзей в Ленинграде не было ни одного члена партии. Когда маме парторг на ее работе предложил вступить в партию, она ответила: «Я была то „беспартийная сволочь“, то — „гнилая интеллигенция“. Так пусть такой и останусь». Парторг оказался порядочным человеком — не донес.

Какие настроения были в этой среде? Той самой, о которой Сталин, наверно, и говорил: «перепуганные интеллигентки».² Советская власть всем этим людям была чужда, все они от нее пострадали. Но победы Гитлера никто не желал (разве что одна семья, кстати, потомственных аристократов — не буду их называть). Представление о фашизме имели, хотя с августа 1939-го в официальной печати о нем перестали упоминать. Начала войны ожидали: английское радио предупреждало за много дней. Не верили злосчастному заявлению ТАСС, за несколько дней до войны, что Германия нападать не собирается. Не верили бравурным песням:

И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Не верили Сталину, когда он 7 ноября убеждал: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия истекает кровью...». Понимали, что неправдоподобно. А потому не верили — хотя очень хотели бы верить! — и сталинскому обещанию: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».³

С горькой иронией отнеслись к посланию Калинина, «всесоюзного старосты». Обращаясь: «Ленинградцы, дети мои», он призывал потуже затянуть пояса. А люди-то умирали.

«Перепуганные интеллигентики»! Их уже столько пугали, таскали по ссылкам, чего им еще бояться? Но, наверно, они-то и были ббльшими патриотами, чем те, кто их так называл?

Верили в Бога, хотя в церковь не ходили. Верили в конечный разгром немецкого фашизма, хотя и понимали, что нужны не «несколько месяцев, полгода, может быть, годик». И прилагали к этому все силы, которые у них еще оставались. Продолжали работать, каждый на своем месте. Во время бомбежек мама дежурила на чердаке и крыше — нужно было гасить зажигательные бомбы в ящиках с песком. Иногда ходил с ней и я.

Не верили укоренившемуся слуху, будто первопричиной голода стал пожар продовольственных Бадаевских складов после немецкой бомбежки. Могло ли все содержимое складов погибнуть от одной бомбежки? И вообще — неужели громадный город полностью зависел от одной лишь группы складов, даже если она большая? А не был ли этот слух выгоден ленинградским начальникам или властям, куда более высоким? Или, больше того, — ими и «запущен»? Свалить страшный голод на немецкую бомбежку и на нерадивых хозяйственников, которые чуть ли не все продовольствие для огромного города якобы собрали в одно место, положили все яйца в одну корзину...

Был и другой слух, но его передавали друг другу только шепотом и только самым близким: не надеясь отстоять Ленинград, власти готовились заминировать важнейшие объекты, а в отношении продовольствия — больше всего боялись, как бы оно не досталось врагу.⁴ Не хотелось верить, что это — правда, хотя считали, что от властей можно ждать чего угодно. И впоследствии это в сущности признал даже Микоян. По его словам, Жданов, а за ним и Сталин в начале войны отказались посылать в Ленинград дополнительное продовольствие — те составы, которые шли на Запад и должны были с началом германского вторжения повернуть обратно. Правда, не было ли лукавства и в этом признании Микояна? Что это были за составы, которые везли продовольствие к западным границам, в плодородные области, которые сами снабжали страну? Не было ли это то самое продовольствие, которое советское правительство поставляло Германии вплоть до первого дня войны?⁵

Голод

С середины ноября встречи между родственниками и друзьями — если они не жили совсем уж рядом или поблизости — почти прекратились. Не было сил. Раньше люди пригибались при свисте снарядов. Теперь уже нет. Не потому, что стали храбрее. Просто не хватало сил.

С 20 ноября, уже в пятый раз, снизили нормы выдачи хлеба. Служащим, иждивенцам и детям — по 125 граммов, да и то с примесью целлюлозы. Вместо жиров, сахара и всего, что полагалось по карточкам, — щепотку яичного порошка, кусочек американского кокосового масла или что-то еще в этом роде. На месяц! Вода — из Фонтанки, куда десятилетиями сливали нечистоты. И нам-то еще повезло — жили рядом с Фонтанкой.

Кто умел — как-то доставал дуранду, так в Ленинграде называли жмых. Ни мы, ни наши близкие этого не умели. В какой-то мере нас выручило, что мама еще летом запаслась чечевицей. Пережив голод 1921-го в Поволжье, она всегда боялась его повторения. И когда чечевица еще была, когда еще работали коммерческие магазины и столовые,

сделала запас. Но, конечно, этого хватило ненадолго. В одной из листовок, которые немцы бросали на город, были слова: «Чечевицу съедите – город сдадите». Долгое время после войны мне казалось — ничего нет вкуснее. И я до сих пор люблю чечевичную похлебку.

Декабрь и январь — настолько страшные, что рука не поднимается описывать. Да и не уверен, что так уж отчетливо помню. От голода память, как и все чувства, притупляется. Восприятие становится не очень отчетливым. Вялость.

Еще в декабре не стало «деда» и его жены. Им было за шестьдесят. Не стало моего двоюродного брата и двоюродной сестры — а им не было и восемнадцати. Никто не знал, когда наступит его черед.

Обтянутые кожей лица. Как черепа. Серо-землистого цвета. Врачи говорили, что по губам можно определить, выживет человек или нет. Если совсем серые — не жилец. Цынга — два коренных зуба у меня выпали. Оказалось, что хуже всего переносят голод мужчины. Большинство знакомых, умерших еще в декабре, — мужчины. Слышал о случаях людоедства, но признак этого видел только один раз: в соседнем дворе лежали обструганные берцовые кости, похоже человеческие. В магазине видел, как вырывают друг у друга хлеб, хотя бы маленькие кусочки — «довески». Видел, что голод мог доводить до озверения, но в кругу близких такого не припомню. Скорее — самопожертвование. Помню, меня поразило: бабушка пришла к нам, узнать, живы ли мы. Пришла с Васильевского на Чернышев.

Однообразные дни. Без воды, без света, без тепла. Главное — без еды. Не раздевались ни днем, ни ночью. В пальто. В очередях за пайком, за хлебом — сырым, глинистым. Иногда его привозили только к полудню. А бывало, и на следующий день. Очереди занимали с раннего утра.

Я рубил топором мебель для буржуйки. Начал с мелкой, потом дошел до дивана. Но старинный дубовый сервант — не сумел. Не хватило сил. Это его спасло, он сохранился, и по сей день стоит у меня в квартире.

«Теперь, через 50 лет после снятия блокады, часто приходится слышать от переживших ее, как они героически сражались с голодом и холодом, становились донорами из патриотических побуждений, дружно и вдохновенно расчищали разбомбленные дома и улицы, чистили и убирали любимый свой город. Все это верно. Только это полуправда. Героизм, конечно, был. Но его скорее можно отнести ко второму периоду блокады, когда стали более регулярно поступать в магазины и столовые продукты, появилась надежда на близкое снятие блокады, да и на фронтах обозначились реальные успехи Советской Армии. Оставшихся в живых ленинградцев тогда действительно охватило желание скорее восстановить город, создать привычную обстановку прежней своей жизни. В тяжелейший же период — октябрь–декабрь 1941 г. и январь–март 1942 г. — у погибающего от голода и холода населения была одна проблема: выжить и сохранить жизнь своим близким и родным».⁶ В этих словах блокадницы В. С. Гарбузовой немало правды.

На что надеялись? Что армии маршала Кулика, генерала Федюнинского возьмут Мгу, Тихвин, прорвут наконец кольцо.

К началу марта подвоз продовольствия немного вырос. Чуть прибавили хлебные нормы. Развивался черный рынок: можно было обменять какие-то вещи на хлеб, — конечно, нелегально. В нашем доме был продовольственный магазин. Туда, продавцам, ушло многое из того ценного, что мы имели.

Но это были лишь крохотные улучшения. Голод продолжался. Люди по-прежнему умирали.

Шла эвакуация по «Дороге жизни», по льду Ладоги. Решиться или нет? Надо ли? И хватит ли сил? Желających — множество, хотя еще в середине февраля объявили, что эвакуированные лишаются права на свою жилплощадь. Но жизнь — дороже жилплощади. К тому же извечная надежда: авось, не отберут.

В марте узнали, что началась принудительная высылка из Ленинграда. Людям присылали повестки: высылаетесь, такого-то числа обязаны быть на Финляндском вокзале. По какому признаку высеяли? Никто ничего не объяснял. Говорили о якобы трех категориях населения: немцах, эстонцах и тех, кто уже раньше бывал сослан.

Выслать тех, кто и так-то, может быть, не доживет до завтра! Да, умом Россию не понять! Маминой подруге из соседнего дома прислали такую повестку. Она была русская, Лидия Андреевна, но по мужу — Герцберг. Муж, из давным-давно обрусевших немцев, умер от голода еще в декабре. Она уезжать не стала. Новой повестки не прислали. Воистину, не понять!

Прислали повестку и моему отцу. Потом, в 2000-м, через много лет после его кончины, я запросил его дело в ФСБ. Оказалось, что его высылали «как социально-опасный элемент (сын крупного фабриканта)». Мой дед фабрикантом не был, тем более — крупным. Но отец в силу какой-то (не хотелось бы сказать — глупой) законопослушности — подчинился. 19 марта он уехал. И провел много лет в Салехарде — за Воркутой.

Его отъезд подействовал на маму и всех нас. Мы наскоро собрались и двинулись тоже. Бабушка, мама со мной, ее сестра с сыном и жена ее брата с двумя сыновьями. 25 марта мы на детских саночках привезли свой убогий скарб на Финляндский вокзал. Мороз кончился, снег таял. Отъезд был обставлен чуть ли не празднично: каждому дали по миске каши с двумя сардельками.

Но, чуть отойдя от города, на Ржевке, поезд остановился и простоял там два дня. Когда пойдет — никто не знал. О еде не было и речи. Тела тех, кто не выдержал, складывали у подножек вагонов, на снегу.

Затем — Борисова Грива. Это ленинградская сторона Ладоги. Потом на полуторке — по Ладоге. Нас всех накрыли брезентом, вероятно, чтоб не пугались зарева боев на южном берегу. Я, конечно, брезент приподнял. И увидел зарево. Но, главное, увидел, как грузовик перед нами ушел под лед — попал в воронку. Шоферам было трудно: конец марта. Поверх льда — вода. «Дорога жизни» по льду — уже на исходе.

Дальше — другой берег, Большая Земля, и путь до Свердловска. 20 дней. На станциях наш поезд обычно отгоняли на самый дальний путь. На ближних — воинские эшелоны, скорые пассажирские. Кормежка — на станциях. За день поезд может пройти три станции, а иногда сутками стоять на полустанках или среди поля. Да и когда пришел на станцию — попробуй получи свой суп, кашу и чай! С несколькими судками надо пробраться под составами, которые отделяют наш от станции. Иногда их пять или шесть. И все время оглядываешься — как бы не ушел поезд. О его отправке зачастую не объявляли.

Перед нами шел эшелон с высланными из Ленинграда. Говорили, что это были эстонцы, но кто знает? До Большой земли они ехали как свободные, а после Ладоги — под конвоем. Наверно, им получать пищу было еще труднее, чем нам. Во всяком случае, когда наш эшелон приходил на станцию сразу вслед за ними, на перроне, бывало,

лежали две горки трупов: в начале поезда и в конце. Иногда их успевали накрыть брезентом, иногда — нет.

У нас мучались от кровавого поноса. И вши откуда-то сразу взялись. В Ленинграде у нас их не было. Дважды обстреливали немецкие истребители: возле станции Буй и где-то еще, когда мы стояли среди поля. Те, кто могли, прятались под вагонами.

До Свердловска доехали не все. В нашей семье — из четвертых взрослых только двое. Бабушка, Лидия Петровна Макрушина, скончалась сразу же по приезде в Свердловск. Тетя Лиля, Елизавета Дмитриевна Макрушина-Сырейщикова, — жена дяди Вали, — еще в поезде. Двух ее сыновей взяли в детдом. Да и нас с мамой ждал невеселый прием. Отчим считал, что нас нет в живых, и вел уже новую жизнь.

Дальше — скитания ленинградцев в эвакуации. Но это уже другая история.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный: К вопросу о происхождении опричнины. М., 1998.

² На параде Красной армии 7 ноября 1941 г. Сталин сказал: «Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики» (*Сталин И.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. С. 39).

³ Там же. С. 39.

⁴ В. С. Семенов, известный дипломат, заместитель министра иностранных дел, писал, основываясь на свидетельствах очевидцев: «Жданов праздновал в Ленинграде труса... Он и Ворошилов, отправленный сразу командовать Северо-Западным фронтом, фактически считали падение Ленинграда неизбежным» (От Хрущева до Горбачева: Из дневника чрезвычайного и полномочного посла, заместителя министра иностранных дел СССР В. С. Семенова // Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 102).

⁵ В воспоминаниях, которые Микоян опубликовал, уже отойдя от активной деятельности (незадолго до смерти), сказано: «В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развергивали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправ-

лять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И. В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.

Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.

Я объяснил, чем это вызвано, добавив, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия» (Военно-исторический журнал. М., 1977. № 2. С. 45–46).

⁶ Предисловие В. С. Гарбузовой в кн.: Болдырев А. Н. Осадная запись: (Блокадный дневник). СПб., 1998. С. 21.